

Non ti scordar di me...

Высокие окна мастерской выходят в Румянцевский сад. В саду — колонна, но из-за деревьев ее почти не видно. Колонна воздвигнута не человеку (генералу Румянцеву), а его победам. По саду летят длинные синие тени от деревьев и от колонны. Они стремятся сойтись где-то за Невой, на той стороне, где бирюза Эрмитажа венчается горящим золотым куполом дворцовой церкви. Хрущевская "оттепель" уже несколько лет как испарилась, новая ранняя весна еще робко бродит по Васильевскому острову, за окнами Академии художеств.

В мастерской перед окном сидит старик, седой и косматый. В руке его — полуживая скрипка с одной струной, которую он изредка дергает длинным ногтем мизинца красивой старой руки. Скрипка явно устала от жизни. Дребезжаньем старик будит ее и себя, избавляя нас, обсевших его со всех сторон живописцев, от необходимости делать это. Струна старая, ненатянутая, издает несуществующий в нотной грамоте звук, то и дело перемежающийся с шуршанием наших кистей по холстам.

Мой портрет идет легко, свободно — старик, как и я, одессит, и это упрощает дело. Он улыбается в промежутках между дремотой и шутит с неповторимой одесской усмешкой на загорелом лице, главными особенностями которого могли бы быть узкие искрящиеся глаза, если бы большой горбатый нос, да седые кудри пророка не делали свое характерное дело.

— *Non ti scordar di me*, — заводит старик песню, как он поясняет, — *nato Napoli*.

Когда-то давно он был певцом, но голос его звучит еще сильно, и нежные остатки *bell canto* еще слышны за завесой десятилетий. Когда он говорит об Италии, где он учился петь, его лицо расцветает, он становится похож на Сатина, воспевающего человеческую породу.

— С моей будущей женой Адой мы познакомились во время одесского погрома 1915 года, — рассказывает он, когда мы сидим на холодных ступенях набережной меж двух сфинксов у самой воды. Грязная невская волна неустанно шлепает по граниту, учащаясь после проходящего мимо буксира. — Мы с отцом, — продолжает старик, — работали во дворе нашего дома на Ризовской, когда услышали на улице за нашим высоким забором крики. Шум нарастал, толпа приближалась. Приоткрыв ворота, я остолбенел: прямо на нас катилась озверевшая орава, впереди которой бежала кудрявая черноволосая девушка. Втащить ее во двор и закрыть тяжелый засов было делом нескольких секунд.

— Мы не расстанемся уже 53 года, — сказал старик, глядя на теплые вечерние облака, быстро летящие над Невой. Его узкие глаза блеснули, как два угля.

Я часто провожал старика до выхода из Академии после уроков. Мне нравилась его высокая сутулая, еще крепкая фигура с палкой, его широкое разлетающееся пальто, его громкое неожиданное пение в гулких высоких коридорах нашей каменной цитадели искусства. Романтично звучало даже его имя — Владимир Константинович Людевиг: что-то от французского короля или от Бетховена.

Однажды я был приглашен к ним, и сухошавая, еще крепкая старуха с копной кудрявых черно-седых волос — Ада Илизаровна — угощала меня одесским борщом и неповторимыми картофельниками со сметаной, подобных которым я не едал со времен моей незабвенной бабушки. Одесса нашла меня и здесь, на далеких северных берегах, куда в поисках высокого и нестареющего искусства судьба занесла старика и меня через десятки лет.

— *Non ti scordar di me*, — напевает старик, наливая бокал красного дешевого каберне.

— Вы знаете, — говорил он потом, когда мы вышли, — Мравинский плохих не берет, а наш Алеша уже несколько лет у него в оркестре; все, вот, разъезжает по границам.

Алексей Людевиг был на слуху с ранней моей ленинградской поры. Доведенный до отчаяния одиночеством, промозглым северным туманом и борьбой с самим собой, я шел в Большой зал Филармонии — единственное прибежище томившегося тела и духа. Здесь, как у Хемингуэя, было чисто и светло. Сюда можно было надеть черную вязаную кофту со свежей рубашкой, белый воротничок которой делал тебя своим в этом белоколонном зале. Тело теряло вес, оно взлетало на хоры и останавливалось у колонны, рядом с трубами органа, замирало на три часа, очищаемое от скверны будней.

— Парить, парить, — кричала душа, наслушавшись симфонии Малера с подтанцовывающим Лорином Маазелем. — Парить, парить, — продолжала она свой призыв на репетиции Четвертой симфонии Чайковского, которой дирижировал Давид Ойстрах.

— *Non ti scordar di me*, — пела душа.

— Не забывай меня, тело.

Помню, помню...

Нью-Йорк

